

Василий Шукшин
ВЕРЮЮ!

По воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая... Максим физически чувствовал ее, гадину: как если бы неопрятная, не совсем здоровая баба, бессовестная, с тяжелым запахом изо рта, обшаривала его всего руками – ласкала и тянулась поцеловать.

– Опять!.. Навалилась.

– О!.. Господи... Пузырь: туда же, куда и люди, – тоска, – издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска. – С чего тоска-то?

Максим Яриков смотрел на жену черными, с горячим блеском глазами... Стискивал зубы.

– Давай матерись, Полайся – она, глядишь, пройдет, тоска-то. Ты лаяться-то мастер.

Максим иногда пересиливал себя – не ругался. Хотел, чтоб его поняли.

– Не поймешь ведь.

– Почему же я не пойму? Объясни, пойму.

– Вот у тебя все есть – руки, ноги... и другие органы. Какого размера – это другой вопрос, но все, так сказать, на месте. Заболела нога – ты чувствуешь, захотела есть – налаживаешь обед... Так?

– Ну.

Максим легко снимался с места (он был сорокалетний легкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хоть работал много), ходил по горнице, и глаза его свирепо блестели.

– Но у человека есть также – душа! Вот она, здесь, – болит! – Максим показывал на грудь. – Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую – болит.

– Больше нигде не болит?

– Слушай! – взвизгивал Максим. – Раз хочешь понять, слушай! Если сама чурбаком уродилась, то постарайся хоть понять, что бывают люди с душой. Я же не прошу у тебя трешку на водку, я же хочу... Дура! – вовсе срывался Максим, потому что вдруг ясно понимал: никогда он не объяснит, что с ним происходит, никогда жена Люда не поймет его. Никогда! Распори он ножом свою грудь, вынь и покажи в ладонях душу, она скажет – требуха. Да и сам он не верил в такую-то – в кусок мяса. Стало быть, все это – пустые слова. Чего и злить себя? – Спроси меня напоследок: кого я ненавижу больше всего на свете? Я отвечу: людей, у которых души нету. Или она поганая. С вами говорить – все равно, что об стенку головой биться.

– Ой, трепло!

– Сгинь с глаз!

– А тогда почему же ты такой злой, если у тебя душа есть?

– А что, по-твоему, душа-то – пряник, что ли? Вот она как раз и не понимает, для чего я ее таскаю, душа-то, и болит, А я злюсь поэтому. Нервничаю.

– Ну и нервничай, черт с тобой! Люди дождутся воскресенья-то да отдыхают культурно... В кино ходят. А этот – нервничает, видите ли. Пузырь.

Максим останавливался у окна, подолгу стоял неподвижно, смотрел на улицу. Зима. Мороз. Село коптит в стылое ясное небо серым дымом – люди согреваются. Пройдет бабка с ведрами на коромысле, даже за

двойными рамами слышно, как скрипит под ее валенками тугой, крепкий снег. Собака залает сдуру и замолкнет – мороз. Люди – по домам, в тепле. Разговаривают, обед налаживают, обсуждают ближних... Есть – выпивают, но и там веселого мало.

Максим, когда тоскует, не философствует, никого мысленно ни о чем не просит, чувствует боль и злобу. И злость эту свою он ни к кому не обращает, не хочется никому по морде дать и не хочется удавиться. Ничего не хочется – вот где сволочь – маята! И пластом, недвижно лежать – тоже не хочется. И водку пить не хочется – не хочется быть посмешищем, противно. Случалось, выпивал... Пьяный начинал вдруг каяться в таких мерзких грехах, от которых и людям и себе потом становилось нехорошо. Один раз спьяну бился в милиции головой об стенку, на которой наклеены были всякие плакаты, ревел – оказывается: он и какой-то еще мужик, они вдвоем изобрели мощный двигатель величиной со спичечную коробку и чертежи передали американцам. Максим сознавал, что это – гнусное предательство, что он – «научный Власов», просил вести его под конвоем в Магадан. Причем он хотел идти туда непременно босиком.

– Зачем же чертежи-то передал? – допытывался старшина. – И кому!!!

Этого Максим не знал, знал только, что это – «хуже Власова». И горько плакал.

В одно такое мучительное воскресенье Максим стоял у окна и смотрел на дорогу. Опять было ясно и морозно, и дымились трубы.

«Ну и что? – сердито думал Максим. – Так же было сто лет назад. Что нового-то? И всегда так будет. Вон парнишка идет, Ваньки Малофеева сын... А я помню самого Ваньку, когда он вот такой же ходил, и сам я такой был. Потом у этих – свои такие же будут. А у тех – свои... И все? А зачем?»

Совсем тошно стало Максиму... Он вспомнил, что к Илье Лапшину приехал в гости родственник жены, а родственник тот – поп. Самый натуральный поп – с волосьями. У попа что-то такое было с легкими – болел. Приехал лечиться. А лечился он барсучьим салом, барсуков ему добывал Илья. У попа было много денег, они с Ильей часто пили спирт. Поп пил только спирт.

Максим пошел к Лапшиным.

Илюха с попом сидели как раз за столом, попивали спирт и беседовали. Илюха был уже на развезях – клевал носом и бубнил, что в то воскресенье, не в это, а в то воскресенье он принесет сразу двенадцать барсуков.

– Мне столько не надо. Мне надо три хороших – жирных.

– Я принесу двенадцать, а ты уж выбирай сам – каких. Мое дело принести. А ты уж выбирай сам, каких получше. Главное, чтоб ты оздоровел... а я их тебе приволоку двенадцать штук...

Попу было скучно с Илюхой, и он обрадовался, когда пришел Максим.

– Что? – спросил он.

– Душа болит, – сказал Максим. – Я пришел узнать: у верующих душа болит или нет?

– Спирту хочешь?

– Ты только не подумай, что я пришел специально выпить. Я могу, конечно, выпить, но я не для того пришел. Мне интересно знать: болит у тебя когда-нибудь душа или нет?

Поп налил в стаканы спирт, придвинул Максиму один стакан и графин с водой:

– Разбавляй по вкусу.

Поп был крупный шестидесятилетний мужчина, широкий в плечах, с огромными руками. Даже не верилось, что у него что-то там с легкими. И глаза у попа – ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому – не кадиллом махать, а от алиментов скрываться. Никакой он не благодостный, не постный – не ему бы, не с таким рылом, горести и печали человеческие – живые, трепетные нити – распутывать. Однако – Максим сразу это почувствовал – с попом очень интересно.

– Душа болит?

– Болит.

– Так. – Поп выпил и промакнул губы крахмальной скатертью, уголочком. – Начнем подъезжать издали. Слушай внимательно, не перебивай. – Поп откинулся на спинку стула, погладил бороду и с удовольствием заговорил:

– Как только появился род человеческий, так появилось зло. Как появилось зло, так появилось желание бороться с ним, со злом то есть. Появилось добро. Значит, добро появилось только тогда, когда появилось зло. Другими словами, есть зло – есть добро, нет зла – нет добра, Понимаешь меня?

– Ну, ну.

– Не понуждай, ибо не запрет еще. – Поп, видно, обожал порассуждать вот так вот – странно, далеко и безответственно. – Что такое Христос? Это воплощенное добро, призванное уничтожить зло на земле. Две тыщи лет он присутствует среди людей как идея – борется со злом.

Илюха заснул за столом.

– Две тыщи лет именем Христа уничтожается на земле зло, но конца этой войне не предвидится. Не кури, пожалуйста. Или отойди вон к отдушине и смоли.

Максим погасил о подошву сигарку и с интересом продолжал слушать.

– Чего с легкими-то? – поинтересовался для вежливости.

– Болят, – кратко и неохотно пояснил поп.

– Барсучатина-то помогает?

– Помогает. Идем дальше, сын мой занюханый...

– Ты что? – удивился Максим.

– Я просил не перебивать меня.

– Я насчет легких спросил...

– Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нем отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет.

– В коммунизм, что ли?

– Что коммунизм?

– В коммунизм веришь?

– Мне не положено. Опять перебиваешь!

– Все. Больше не буду. Только ты это... понятней маленько говори. И не торопись.

– Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая все это затеяла на земле, Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего все? А? Где такая сила? – Поп вопросительно посмотрел на Максима. – Есть она?

Максим пожал плечами:

– Не знаю.

– Я тоже не знаю.

– Вот те раз!..

– Вот те два. Я такой силы не знаю. Возможно, что мне, человеку, не дано и знать ее, и познать, и до конца осмыслить. В таком случае я отказываюсь понимать свое пребывание здесь, на земле. Вот это как раз я и чувствую, и ты со своей больной душой пришел точно по адресу: у меня тоже болит душа. Только ты пришел за готовеньким ответом, а я сам пытаюсь дочерпаться до дна, но это – океан. И стаканами нам его не вычерпать. И когда мы глотаем вот эту гадость... – Поп выпил спирт, промакнул скатертью губы. – Когда мы пьем это, мы черпаем из океана в надежде достичь дна. Но – стаканами, стаканами, сын мой! Круг замкнулся – мы обречены.

– Ты прости меня... Можно я одно замечание сделаю?

– Валяй.

– Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?

– Я – человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Так сказал один знаменитый безбожник, сказал очень верно. Несколько самонадеянно, правда, ибо при жизни никто его за бога и не почитал.

– Значит, если я тебя правильно понял, бога нет?

– Я сказал – нет. Теперь я скажу – да, есть. Налей-ка мне, сын мой, спирту, разбавь стакан на двадцать пять процентов водой и дай мне. И себе тоже налей. Налей, сын мой простодушный, и да увидим дно! – Поп выпил. – Теперь я скажу, что бог – есть. Имя ему – Жизнь. В этого бога я верую. Это – суровый, могучий Бог, Он предлагает добро и зло вместе – это, собственно, и есть рай. Чего мы решили, что добро должно победить зло? Зачем? Мне же интересно, например, понять, что ты пришел ко мне не истину выяснять, а спирт пить. И сидишь тут, напрягаешь глаза – делаешь вид, что тебе интересно слушать...

Максим пошевелился на стуле.

– Не менее интересно понять мне, что все-таки не спирт тебе нужен, а истина. И уж совсем интересно, наконец, установить: что же верно? Душа тебя привела сюда или спирт? Видишь, я работаю башкой, вместо того чтобы просто пожалеть тебя, сиротиночку мелкую. Поэтому, в соответствии с этим моим богом, я говорю: душа болит? Хорошо. Хорошо! Ты хоть зашевелился, ядрена мать! А то бы тебя с печки не стащить с равновесием-то душевным. Живи, сын мой, плачь и приплясывай. Не бойся, что будешь языком сковородки лизать на том свете, потому что ты уже здесь, на этом свете, получишь сполна и рай и ад. – Поп говорил громко, лицо его пылало, он вспотел. – Ты пришел узнать: во что верить? Ты правильно догадался: у верующих душа не болит. Но во что верить? Верь в Жизнь. Чем все это кончится, не знаю. Куда все устремилось, тоже не знаю. Но мне крайне интересно бежать со всеми вместе, а если удастся, то и обогнать других... Зло? Ну – зло. Если мне кто-нибудь в этом великолепном соревновании сделает бяку в виде подножки, я поднимусь и дам в рыло. Никаких – «подставь правую». Дам в рыло, и баста.

– А если у него кулак здоровей?

– Значит, такая моя доля – за ним бежать.

– А куда бежать-то?

– На кудыкину гору. Какая тебе разница – куда? Все в одну сторону – добрые и злые.

– Что-то я не чувствую, чтобы я устремлялся куда-нибудь, – сказал

Максим.

– Значит, слаб в коленках. Паралитик. Значит, доля такая – скулить на месте.

Максим стиснул зубы... Вьелся горячим злым взглядом в попа.

– За что же мне доля такая несчастная?

– Слаб. Слаб, как... вареный петух. Не вращай глазами.

– Попяра!.. А если я сейчас, например, тебе дам разок по лбу, то как?

Поп громко, густо – при больных–то легких! – расхохотался.

– Видишь! – показал он свою ручищу. – Надежная: произойдет естественный отбор.

– А я ружье принесу.

– А тебя расстреляют. Ты это знаешь, поэтому ружье не принесешь, ибо ты слаб.

– Ну – ножом пырну. Я могу.

– Получишь пять лет. У меня поболит с месяц и заживет. Ты будешь пять лет тянуть.

– Хорошо, тогда почему же у тебя у самого душа болит?

– Я болен, друг мой. Я пробежал только половину дистанции и захромал. Налей.

Максим налил.

– Ты самолетом летал? – спросил поп.

– Летал. Много раз.

– А я летел вот сюда первый раз. Грандиозно! Когда я сидел на нем, я думал: если этот летающий барак навернется, значит, так надо; жалеть и трусить не буду. Прекрасно чувствовал себя всю дорогу! А когда он меня оторвал от земли и понес, я даже погладил по боку – молодец. В самолет верую. Вообще в жизни много справедливого. Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

– А у вас в церкви... как заведут...

– У нас не песня, у нас – стон. Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

– Люблю.

– Споем?

– Я не умею.

– Слегка поддерживай, только не мешай.

– И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как–то загудел, что и правда защемило в груди. На словах «ах, и сам я нынче чтой–то стал нестойкий» поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.

– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...

Максим чувствовал, что он тоже начинает любить попа.

– Отец! Отец... Слушай сюда!

– Не хочу! – плакал поп.

– Слушай сюда, колода!

– Не хочу! Ты слаб в коленках...

– Я таких, как ты, обставлю на первом же километре! Слаб в коленках... Тубик.

– Молись! – Поп встал. – Повторяй за мной...

– Пошел ты!..

Поп легко одной рукой поднял за шкурку Максима, поставил рядом с собой.

– Повторяй за мной: верую!
– Верую! – сказал Максим.
– Громче! Торжественно: ве-ру-ю-у! Вместе: ве-ру-ю-у!
– Ве-ру-ю-у! – заблажили вместе. Дальше поп один привычной скороговоркой зачастил:
– В авиацию, в механизацию сельского хозяйства, в научную революцию-у! В космос и невесомость! Ибо это объективно-о! Вместе! За мной!..
Вместе заорали:
– Ве-ру-ю-у!
– Верую, что скоро все соберутся в большие вонючие города! Верую, что задохнутся там и побегут опять в чисто поле!.. Верую!
– Верую-у!
– В барсучье сало, в бычачий рог, в стоячую оглоблю-у! В плоть и мягкость телесную-у!..
..Когда Илюха Лапшин продрал глаза, он увидел: громадина поп мощно кидал по горнице могучее тело свое, бросался с маху вприсядку и орал и нахлопывал себя по бокам и по груди:
– Эх, верую, верую!

Ту-ды, ту-ды, ту-ды – раз!
Верую, верую!
М-па, м-па, м-па – два!
Верую, верую!..

А вокруг попа, подбоченясь, мелко работал Максим Яриков и бабьим голосом громко вторил:
– У-тя, у-тя, у-тя-три!

Верую, верую!
Е-тя, етя – все четыре!

– За мной! – восклицал поп.
– Верую! Верую!
Максим пристраивался в затылок попу, они, приплясывая, молча совершали круг по избе, потом поп опять бросался вприсядку, как в прорубь, распахивал руки... Половицыгнулись.
– Эх, верую, верую!
– Ты-на, ты-на, ты-на – пять!

Все оглобельки – на ять!
Верую! Верую!
А где шесть, там и шерсть!
Верую! Верую!

Оба, поп и Максим, плясали с такой с какой-то злостью, с таким остервенением, что не казалось и странным, что они пляшут. Тут или плясать, или уж рвать на груди рубаху и плакать и скрипеть зубами.

Илюха посмотрел-посмотрел на них и пристроился плясать тоже. Но он только время от времени тоненько кричал: «Их-ха! Их-ха!» Он не знал слов.

Рубаха на попе – на спине – взмокла, под рубахой могуче шевелились бугры мышц: он, видно, не знал раньше усталости вовсе, и болезнь не успела еще перекусить тугие его жилы. Их, наверно, не так легко перекусить: раньше он всех барсуков слопает. А надо будет, если ему посоветуют, попросит принести волка пожирнее – он так просто не уйдет.

– За мной! – опять велел поп.

И трое во главе с яростным, раскаленным попом пошли, приплясывая, кругом, кругом. Потом поп, как большой тяжелый зверь, опять прыгнул на середину круга, прогнул половицы... На столе задребезжали тарелки и стаканы.

– Эх, верую! Верую!..